

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ШЕДЕВРЫ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ЧИТАЛ

Конечно, литературное наше богатство огромно. Но чудо русской литературы ещё и в том, что в ней, помимо реально существующих и прочитанных нами произведений, затаённо живут не написанные – и, естественно, ни кем не прочитанные – шедевры.

Легче всего пояснить эту мысль на конкретных примерах. Вот, скажем, Набоков: известно, что в свою раннюю пору, подписываясь ещё Сириным, он задумал писать роман “Счастье”. Один из берлинских рассказов Набокова-Сирина “Письмо в Россию” имел даже подзаголовок: “Из второй части романа “Счастье”.

К сожалению, замысел этот так и не был осуществлён. И поэтому не вполне воплощённой осталась важнейшая из составляющих набоковского дара: способность озарить бытовую, унылую жизнь волшебным фонарём своей прозы. То, что вообще составляет важнейшую задачу художника – возведение реальности к высшему, поэтически просветлённому бытию, – оказалось Набоковым мало-помалу забыто. Он всё более стал увлекаться созданием искусственных литературных конструкций – подобием шахматных головоломок, где отражалась не столько реальность, сколько изобретательность и эрудиция автора.

Очень жаль, что Набоков оставил работу над “Счастьем” – романом, даже в замысле так подходившим и к личности, и к дарованию юного Сирина. Но вот тут, на высоте сожаления о несостоявшемся “Счастье”, вдруг начинает казаться, что этот роман – существует!

В ощущении этом, конечно, есть нечто мистическое. Но, с другой стороны, разве мы не читали рассказов Набокова, которые можно считать своего рода главами ненаписанного романа? Это “Письмо в Россию”, о котором уже упомянуто, это рассказы “Порт”, “Благость”, “Путеводитель по Берлину”, “Тяжёлый дым”; это, наконец, роман “Дар”, многие страницы которого являются как бы предвестниками задуманного “Счастья”.

Вот, например: “...Пробив плечом волнистый дождь занавески, Никитин вышел в покатый переулок. Правая сторона была в тени, по левой в жарком сиянии дрожал вдоль панели узкий ручей, девочка, черноволосая, беззубая, в смуглых веснушках, ловила звонким ведром сверкавшую струю; и ручей, и солнце, и фиолетовая тень – всё текло, скользило вниз, к морю: ещё шаг, и там, в глубине между стен, выросал его плотный сапфировый блеск. (...) Сойдя к морю, Никитин с волнением поглядел на его густую синеву, переходившую вдаль в ослепительную серебристость, – на световую рябь, нежно игравшую по белому борту яхты...” (“Порт”).

Или: “...Слушай, я совершенно счастлив. Счастье моё – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувст-

взя губы сырости сквозь дырявые подошвы, — я с гордостью несу своё необъяснимое счастье. Прокатят века, — школьники будут скучать над историей наших потрясений, — всё пройдёт, всё пройдёт, но счастье моё, милый друг, счастье моё останется — в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в чёрные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всём, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество” (“Письмо в Россию”).

Другой же пример, поясняющий наш парадокс, мы привлечём совершенно с другой стороны. Вот писатель, Набокову противоположный: и по судьбе, и по политическим взглядам, и по эстетическим убеждениям. Общего у него с Набоковым, кажется, только одно: замечательный русский язык. Речь идёт о Твардовском. “В сущности, я прозаик”, — говорил он о себе; и как же досадно и горько, что эту свою прозаическую ипостась он не сумел воплотить в полной мере. Известно, и по его собственным записям, и по воспоминаниям тех, кто с ним близко общался, что Твардовский многие годы вынашивал замысел романа об отце, и называться он должен был “Пан”. Уже незадолго до смерти, в 1970 году, Твардовский писал своему знакомому А. М. Абрамову: “Конечно же, я, как почти всякий серьёзный писатель, держу до сих пор “в уме” свою главную книгу, — она, несомненно, — проза”.

Написать он её не успел. Но опять возникает в душе то же самое необъяснимое чувство. Кажется, что роман “Пан” всё-таки существует, что он тайно живёт где-то в недрах русской литературы.

И тут встаёт главный вопрос: это странное, полумистическое ощущение есть всего лишь особенность моего восприятия, моя личная грёза — или же оно отражает нечто реальное и объективное? Существует ли, в самом деле, в каких-то глубинных слоях бытия роман “Пан”, который Твардовский просто-напросто не успел записать?

С одной стороны, текст возникает только в момент его закрепления на бумажном листе — или, с поправкой на современные технологии, на экране компьютера. Это вроде бы не подлежит ни сомнению, ни обсуждению.

Но, с другой стороны, даже замысел вещи, сама мысль о ней, — если писатель продумал её с настоящим, живым напряжением творческой воли, — уже есть то зерно, в котором реально держится её будущий текст.

Никто же не отрицает того, что в семени уже содержится будущее растение? Или вот, например, человек: когда он уже существует? Тогда ли, когда он родился на свет, издал первый крик — или он существует уже и тогда, когда представляет собой всего лишь зародыш, комочек из нескольких клеток? Но ведь в каждой из них, в её геномном наборе, уже содержатся цвет его глаз и волос, его голос и рост, его будущий нрав, и даже болезни, которыми он должен будет переболеть. Даже одна-единственная клетка — этот замысел будущего человека — в каком-то смысле уже есть живой человек.

Шопенгауэр, могучий мыслитель с душою поэта, шёл ещё дальше. Размышляя о метафизике половой любви, он писал, что новый человек зарождается в тот момент, когда впервые встречаются взгляды того юноши и той девушки, кому суждено, подчиняясь велению рода, сначала влюбиться друг в друга, а затем и зачать ту, в потенции уже сущую, жизнь, — которую, словно искру из камня, вдруг высекали их повстречавшиеся глаза!

Так и текст. Он рождается уже в момент замысла — в тот момент, когда некая искра вдруг озаряет тревожную, смутную от ожидания душу художника. Возможно, что перед истинным гением текст появляется сразу весь, целиком — остаётся лишь, словно под чью-то диктовку, его записать да потом, в ходе правки, убрать те помехи, которыми сопровождался духовидческий этот сеанс. Скорей всего, именно так писал Пушкин: текст словно всплывал к нему из глубины, становясь час от часу всё более внятным и различимым.

Серьёзным поэтическим аргументом в пользу “предсуществования” художественных произведений служит известное произведение А. К. Толстого “Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..” По мысли поэта, шедевры существуют предвечно, — ожидая того, кто уловит гармонию мира и переложит её на язык, внятный многим. “Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, Много чудесных в нём есть сочетаний и формы, и света, Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает создание в наш мир удивлённый. . .”

Так что даже и замысел – то есть первая встреча художника с его будущим, пока что невоплощённым, произведением – уже есть нечто сущее, принадлежащее бытию.

Известна формула классической философии: то, о чём можно помыслить – уже существует. Если даже и теология основывает на ней одно из доказательств бытия Божия – “Бог существует, поскольку мы можем помыслить о Нём”, – то уж тем более мы с вами вправе всерьёз говорить о существовании ненаписанных литературных шедевров.

И сразу становится легче дышать, легче жить – когда укрепляешься в мысли о том, что, например, роман “Пан” Твардовского не просто где-то там существует, живёт в не проявленном виде – но что я даже что-то читал из него. Это “что-то” – рассказы “Костя” и “Печники”, страницы “Родины и чужбины”. Вот, например:

“...То ли во сне я увидел, то ли перед сном предстала мне в памяти одна из дорожек, выходявших к нашему хутору в Загорье, и, как в кино, пошла передо мной не со стороны “нашей земли”, а из смежных, ковалевских кустов, как будто я еду с отцом на телеге откуда-то со стороны Ковалева домой. Вот чуть заметный на болотном месте взгорочек, не очень старые, гладкие, облупившиеся пни огромных елей, которых я уже не помню, помню только пни. Они были тёплыми даже в первые весенние дни, когда ещё пониже, в кустах, снег и весенняя ледяная вода. Около этих пней я, бывало, находил длинноголовые, хрупкие, прохладные и нежные сморчки. Дорога, заросшая чуть укатанной красноватой травой. Дальше лощинка между кустов, где дорога чернела, нарезанная шинами колес, и стояла водичка до самых сухих летних дней...” (“Родина и чужбина”).

Или вот здесь, в начале рассказа “Костя”, – разве не ощутимо дыхание эпической прозы Твардовского? “...Светло-зеленая в низинах и более светлая на взгорках, рожь пахнет в такую пору хлебом и сеном. Запах этот был особенно явствен там, где она, потоптанная, просыхала на горячей песчаной пыли объездов. Местами, у обочин, она была не просто потоптана или примята и даже не то чтобы обмолочена до срока, а смолота гусеницами и колёсами, смолота вместе с мягкой остью ещё подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями. А местами по ней шли чёрные плечи от бомбовых разрывов, – веером лежит она далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжёлым сбросом земли. И ещё больше видеть, как она, светло-зелёная во всё поле, вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-жёлтая, перезрелая без поры, зряшная...”

Отметим ещё очень важный момент. Георгий Адамович писал, что мы, читая “Евгения Онегина”, являемся – пусть в ослабленной, малой, весьма относительной степени, – но всё же соавторами пушкинского романа. Момент нашего соучастия в литературном шедевре и есть то сочувствие, что “нам даётся, как нам даётся благодать”, по выражению Тютчева. В этой горячей, мистической точке сочувствия мы соприкасаемся и с творцом, и с его творением, – преодолевая гнетущие, тесные рамки эгоцентрического существования. Сопереживание, соучастие – то есть, по сути, сотворчество – вот то главное, ради чего мы берём в руки книгу, или подходим к картине, или слушаем музыку.

Но вот именно в случае, когда шедевр даже ещё не написан, когда он существует пока лишь в потенци, в неких глубинных слоях бытия – вот именно в этих-то случаях наше движение к ним, нерождённым шедеврам, навстречу словно бы помогает извлечь их из сумерек полусуществования. Не будь нашего с вами читательского сожаления о нерождённых шедеврах, не будь у нас с вами готовности как бы дожидаться их воплощения – русская литература не была бы настолько безмерна и глубока.

А пока мы живём, мы читаем, мы дышим воздухом литературы – вместе с нами живёт даже то, что ещё не вполне появилось на свет. И вот странное дело: вместе с таинственной убеждённостию в том, что литература и глубже, и шире тех рамок, которые заданы собственно текстами, – возникает ещё убеждённостию и в том, что сама наша жизнь превосходит те рамки, что заданы нашим рождением и смертью. Жизнь куда больше, богаче, чем она явлена нам: вот тот урок, что снова и снова преподаёт нам великая русская литература.